

ВЕТЕР ТРОИ

МАРШРУТ



АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ
Родился в 1956 году в Ленинграде. Русский, советский писатель, редактор, сценарист. Лауреат Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера, премий «Русский Бунер» и «Ясная Поляна», большой

премии имени Аполлона Григорьева, премий журнала «Знамя», премии Ивана Петровича Белкина, премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2013). Финалист премий «Большая книга», «Русский Бунер».

Полезность географии предполагает в географе также философа – человека, который посвятил себя изучению искусства жить, то есть счастья.

Страбон

Немногим позже, когда Тихонин будет объявлен в розыск, те из нас, с кем сочтет нужным говорить полиция двух стран, сильно разойдутся в описании его примет, но все мы, не сговариваясь, отметим, что седина у него – медная. С въедливым недоумением полицейские чины Турции и России будут допытываться, что же имеется в виду, ведь медно-рыжий цвет волос не может означать седину, или же речь идет о ее зеленоватом оттенке, свойственном старой меди? Эта, с позволения сказать, версия нас всех разозлит: зеленоватая седина – это же гадость, треш, уродство, ее даже представить себе тошно, а Тихонин – он собой хорош, и медь его седины хороша. Полицейским останется лишь гадать о цвете его волос, не передаваемом даже цифровыми фотографиями в документах – на них на всех волосы его темны и цвета неопределенного...

Так вскоре и будет; пока же Тихонин, немолодой мужчина с медной, иначе и не скажешь, сединой вот уже третий час сидит нога на ногу в пластиковом кресле перед выходом из таможен-

ного коридора в зал ожидания терминала прилетов нового стамбульского аэропорта. Навстречу ему раз за разом выходят, с громом выкатывая свой багаж, пассажиры римского, московского, бакинского, софийского и белградского прибывших рейсов – самолет из Чикаго, в ожидании которого Тихонин третий час сидит в жестком кресле, упрямо задерживается... Время от времени Тихонин встает, идет к бубличной, пьет кофе. Привычно подчиняясь окрику сотрудника службы безопасности аэропорта, натягивает на нос противовирусную тряпочку; минуту позадыхавшись, столь же привычно сдвигает ее с лица на горло и возвращается в кресло...

Три часа прошло. В зал ожидания вываливается, гремя колесиками багажа, небольшая толпа пассажиров; Тихонин слышит английскую речь и испуганно встает. На нетвердых и, как он думает, затекших ногах идет навстречу толпе и видит в ней Марию.

Трех тревожных часов ожидания ему хватило, чтобы перебрать в воображении все возможные варианты того, как должна выглядеть Мария после сорокалетней разлуки, и выбрать из них самый предпочтительный. Воображение Тихонина не было мечтательным, но и никогда не рисовало страшного: его питал один лишь здравый смысл, и потому Тихонин не был удивлен, увидев Марию

именно такой, какой вообразил себе увидеть: коротко подстриженной светлой шатенкой, немного полноватой, но не чуждой спорту, как это принято у американок ее круга; с лицом немного изменившимся, но прекрасным, как и прежде, и узнаваемым благодаря тактичному вмешательству косметолога и, совсем чуть-чуть, пластического хирурга. Разрез глаз, из-за которого в них навсегда застыло испуганное удивление, был прежним, синие зрачки стали заметно шире – благодаря линзам с сильными диоптриями.

– Да, это я, – произносит Мария заготовленные, как отчего-то думает Тихонин, слова. – Тебя тоже узнать трудно. За сорок лет мы просто обязаны были измениться... Что ж, здравствуй, мой Тихоня.

Он медленно касается губами ее упругой не по возрасту щеки, перехватывает ручку чемодана; тронув локоть, молча приглашает следовать за собой и бодро катит чемодан к выходу из терминала – она за ним не поспевает.

– Никогда не была в Турции, – призналась Мария после долгого молчания, когда наскучило глядеть из окон такси на холмы по обеим сторонам трассы, укутанные легким, как пар, густым и теплым дождем.

– Здесь хорошо, – ответил Тихонин, чувствуя тепло ее бедра, но не решаясь опустить ладонь на колено, – но здесь очень строго с масками. Как приедем, советую надеть.

– Я учту.

Таксист обернулся:

– Are you from?

– America, – ответила Мария.

– Россия, – сказал Тихонин, и таксист развеселился: их ответы прозвучали как один.

– Куда он нас везет? – спросила Мария.

– К площади Таксим, если тебе она что-то говорит. Нам нужен «Хилтон».

Мария заскучала:

– Мы будет жить в «Хилтоне»?

– Нет, – успокоил ее Тихонин. – Там отделение Avis, где мы возьмем машину. Я когда беру – только у них; привык. У меня там даже скидка.

– Почему не взял заранее? Забыл по привычке все забывать? Зачем мы едем за машиной на такси?

– Не то чтобы забыл, – мягко поправил ее Тихонин, – и, может быть, привычка забывать – не у меня. Но, чтобы взять мотор в аренду, нужны права, а у меня их нет... Ехал в Тузлу на своей,

слишком разогнался. Оно бы ничего, здесь превышают все, но меня полиция остановила, то есть попыталась остановить... И погнались – а что им оставалось? Я думал, оторвусь, потом запутаю их в Тузле. Не запутал. Права забрали, выдали повестку в суд.

– Вот почему ты вынудил меня взять с собой права. Выходит, это я беру машину.

– И страховку, – подсказал Тихонин. – На мои деньги, разумеется.

– Но мне придется сесть за руль.

– Извини.

– Нет, Тихоня, ты не изменился... Удирать от полиции. В Турции.

– Я понимаю, тебе смешно. Вспомнила, как я лишился прав на мотоцикл – я тогда их только-только получил.

– Ну да! – Марии в самом деле было весело. – Мы удирали на твоём «Ковровце» от гаишника – или тогда их еще звали орудовцами? – и он нас легко сцапал.

– Он был на «Урале». Слишком мощный движок.

– Допустим, мощный. Но ты съехал с дороги в поле. Во вспаханное поле! Зачем ты съехал в поле?

– Думал, оторвусь.

– Он думал!.. Мы увязли и упали. Ты меня уронил. Хорошо, я ничего не повредила. Но я вся перепачкалась... Тебя лишили прав, объявился твой отец и отобрал у тебя мотоцикл.

– Причем навсегда, – сказал Тихонин. – Говорили, он его продал.

– Сколько тебе было?

– Как и тебе.

– Шестнадцать.

– Верно... Права на мотоцикл выдавали с шестнадцати лет; не знаю, как сейчас.

– Шестнадцать лет, девятый класс, все правильно. В шестнадцать лет быть дураком не стыдно... А сейчас тебе сколько?

– Я вот смотрю на тебя и чувствую: те же шестнадцать.

– Поцелуй меня, наконец, – спокойно сказала Мария.

– Приехали, «Хилтон», – обернулся таксист.

Как только они вышли из машины, дождь прекратился, и над Стамбулом встало солнце.

«Через двести метров поверните направо. Потом поверните налево. Налево и направо. – Женский голос русского навигатора в телефоне Тихонина звучал уверенно. Ведомый Марией «меган»

разматывал путаницу улиц района Султан-Ахмет с таким медленным, натужным и опасливым усилением, как если б по извилистой дороге поднимался к небу...

– Знаешь, что я заметила, – сказала Мария, притормозив на перекрестке и нетерпеливо поглаживая руль. – Твоя седина на солнце отличается медью. Я тебя не помню рыжим – откуда медь?

Тихонин помолчал; он словно бы ее не слышал и нетерпеливо поглядывал в окно...

«Поверните налево, – в который раз напомнил о себе навигатор, – поверните направо; поверните налево, затем следуйте прямо... До окончания маршрута осталось триста метров».

– Здесь! – произнес Тихонин. – Отель за перекрестком, но еще чуть дальше нам вперед, к парковке: она слева.

Навигатор подтвердил: «Через шестьдесят метров поверните налево. Вы прибыли в конечную точку маршрута».

И световой день подошел к концу.

Они обосновались в двухкомнатном номере на третьем этаже и отправились ужинать. Обойдя по длинному кругу темную громаду нежно подсвеченной Голубой мечети, поднялись на крышу четырехэтажного ресторана, давно облюбованного Тихониным. Сели за столик на краю открытой площадки. Прямо перед ними слабо сияли во тьме купола Голубой мечети и Айя Софии; на другом краю, за ограждением, на малом отдалении дышал Босфор и словно бы тлела в ночи, в рассеянных огнях подсветки, старая, с угловатыми башнями, крепость, которую Мария приняла за несуществующий каменный мост. Она с трудом воспринимала все вокруг; ей не хотелось говорить; она до того устала за весь этот огромный, хлопотливый день, что задремала в ожидании султан-кебаба и баклажанного пюре.

– Прости, – сказала она Тихонину. – Пока я добиралась до Чикаго, потом аэропорт, дикая задержка рейса, этот перелет в Стамбул, еще и пересадка, другой мир, в нем – ты... Слишком всего много. – Она неуверенно, будто боялась неверной рукой пролить вино, отпила немного каппадокийского и вдруг спросила: – Мне вот интересно: какой ты меня себе представлял? У тебя ведь нет моих фотографий.

– Верно, – согласился Тихонин. – Пока я маялся в аэропорту, я представлял тебя примерно такой, какой и увидел. Какой вижу и сейчас.

– А до аэропорта? Все эти годы? Все эти сорок лет?

– Такой же, как и раньше, ровно такой и никакой другой. Сожму глаза и вижу тебя перед собой тощей, но с хорошей грудью, вижу твою знаменитую светло-русую косу до самых впадинок под коленками, и ты – в широких, толстых, пол-лица заслоняющих очках... Ты их снимала неожиданно для всех, и открывалось вдруг все твое лицо. Оно было всякий раз как фотовспышка. И глаза твои из-за твоей, ты извини, подслеповатости казались сонными, с наглым таким, восхитительным сонным прищуром; я сразу сошел с ума, когда ты впервые сняла передо мной очки... Ты меня совсем не слушаешь, но это ничего. По-моему, тебе давно пора спать.

Они вернулись в отель. Мария скрылась в своей комнате. Тихонин выволок кресло на обширную открытую террасу и уселся, опустив локоть на перила. Под ним внизу стихала узкая, обычно многолюдная при свете дня, но голая во тьме, старая улица. В окне напротив, столь близком, что казалось, до него можно было достать рукой, кто-то громко говорил по телефону за легкой шторой при неярком свете ночника; разговор прервался, и ночник погас. Тихонин привстал, подался чуть вперед, вытянул голову над перилами и глянул влево – туда, где улица черным ручьем втекала в ночное море: там помаргивали огни судов, вставших на рейде, но самого моря, что слилось с небом, не было видно во тьме. Лицо Тихонина гладил медленный и теплый солоноватый ветер. В закоулках вокруг глох шум редких машин. Чайки вскрикивали, как если бы их кто-то тревожил во сне.

Скрипнув, тихо приоткрылась дверь. Показалась Мария в белом гостиничном халате, сказала:

– Ты здесь собрался до утра сидеть? Ты забыл обо мне?

– Думал, ты спишь, – сказал Тихонин.

– Как я могу уснуть, ты сам подумай?.. И хватит тебе стынуть, идем ко мне.

Мы уже согласны меж собой, что все у них когда-то началось с пирожка. Купленный в буфете станции Пытавино за четырнадцать копеек, тот пирожок с крутым яйцом и рисом был не слишком вкусен, зато сытен. Тихонин ел его лениво. Слегка откусывал – и забывал о нем, и следовал в себе блужданию каких-то мыслей, тогда ему казалось, очень важных; отщипывал от масляно-

го края и задумчиво бросал отщипанное в пыль, воробьям. И воробьи, пофыркивая крылышками, клевали это тесто, а когда сверху на них падала хромая ворона, отпрыгивали в стороны и отряхивались... Потом ворона, наклевавшись, взлетала вверх с нелегкого, вразвалочку, разбега; воробьи снова сбивались в кучу у ног Тихонина – он им еще отщипывал от пирожка.

Сидя в тени станции на лавочке, Тихонин думал, ел, глядел на воробьев, а на кого еще было там глядеть, кроме девочки с огромной светлорусой косой? На нее и стоило взглянуть, когда бы не неловкость: прохаживаясь взад-вперед в ожидании пригородного дизеля и проходя мимо Тихонина, девочка сама поглядывала быстро на Тихонина... Казалось бы: что в том неловкого? Даже если ты, допустим, робок – отчего не осмелеть хотя б на миг и, подгадав момент, поднять глаза навстречу девочке?.. Но в том-то все и дело, что мгновенные, словно скользящие взгляды ее не были взглядами ему в лицо или хотя бы пресловутыми потупленными взглядами. Она вообще не на него глядела всякий раз, но вот куда? Неужто лишь на воробьев да на ворону?.. Тихонин не отвлекся от своих важных мыслей, не сразу глянул исподлобья на нее, а как глянул, пригляделся – понял с удивлением: она глядит на пирожок в его руке, который он от скуки ест и от которого отщипывает воробьям... И не нашел ничего лучшего, как остановить ее коротким возгласом:

- Хочешь? – и протянул ей пирожок.
- То есть? – не поняла она.
- Если ты хочешь, откуси. Или совсем доешь, – сказал Тихонин.
- Она ответила спокойно:
- Не хочу. Да если б и хотела, мне нельзя.
- А почему нельзя?
- Это негигиенично, – ответила она.

Тихонин растерялся, бросил, что осталось, воробьям, и те толпой закопошились в пыли. Он достал носовой платок и вытер им масляные руки. Девочка недобро посмотрела на него и пошла, дрогнув косой, в дальний конец платформы; скоро прибыл дизель, она вошла в вагон и уехала в областной центр.

Он не видел ее долго, может, месяц, зато вспомнил сразу, как встретил на озерном берегу: такую косу, может быть, единственную в области, не говоря уже о районе, нельзя было совсем забыть всего за месяц. Тихонин подошел, сказал «привет», она ответила ему как старому знакомому. Потом они купались вместе, и Тихонин смог уви-

деть, как выглядит ее коса, если распустить ее и разбросать, распушенную, по плечам; если ее, мокрую, обернуть сверху донизу шершавым полотенцем, пусть не досуха – это невозможно, – а потом собрать в узел на голове и, чтобы узел не рассыпался, схватить его косынкой. Тихонин сам не распускал Марии косу, не вытирал ее – они ведь почти не были знакомы и пляж не был малолюдным, – но ему уже тогда казалось, что это он распускает Марии косу перед тем, как она войдет в воду, и это он промокает потом ее волосы, набрякшие водой и оттого особенно тяжелые, шершавым полотенцем...

Потом гуляли-говорили. Тихонин проголодался; в кармане у него был целый рубль: на пельменную хватило бы обоим, но он молчал, серьезно опасаясь, что, если ей сказать о голоде, она услышит в этом невежливый намек на пирожок с рисом и яйцом. Но Мария сама ему сказала:

- Что-то захотелось есть после купания.
- Я бы тоже съел чего-нибудь, – обрадовался Тихонин.

Мария уточнила:

- Я не голодна, но у меня такой метаболизм. Обмен веществ, говоря по-русски.

Тихонин промолчал; Мария сама вспомнила о пирожке:

- Я тогда, на станции, вовсе не была голодной. Это такой обмен веществ. Он есть у всех, но у меня он очень быстрый. И я всегда думаю, что хочу есть.
- Я понимаю: как у чаек, – сказал Тихонин. – Они все время голодны, и потому всегда кричат, не переставая.
- Я не чайка, – ответила Мария. – Я никогда не кричу, и я не голодна, как я тебе уже сказала. Но у меня метаболизм.

Тихонин не стал спорить и повел ее в пельменную «Дружок».

Как только они встретились опять, на этот раз условившись о встрече, разговор снова зашел о еде, не то чтобы нечаянно, но совсем уж неожиданным образом. Казалось бы, как связана еда с его желанием поцеловать Марию? Тихонин этого не только лишь желал, но заранее сказал себе, что обязательно попробует ее поцеловать; просто попробует, а там пусть будет то, что будет... Поговорили, погуляли, где пришлось, и перед тем, как начало темнеть, он взял ее за плечи, повернул к себе – и услышал то, что с заведомым унынием предполагал услышать:

- Не надо, а?..

Он подавил вздох, но Мария этим не закончила и пояснила прямо:

- Ты не думай, я не против. Но я сегодня ничего не ела, и у меня, наверно, плохой запах изо рта, прости за откровенность. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне про запах изо рта.
- Мне это все равно, – успокоил ее Тихонин и вовремя себя поправил: – Я хотел сказать, меня это не пугает. Это же все равно твой запах.
- Зато меня пугает, – мягко воспротивилась Мария. – Сейчас не надо.
- А в щеку?
- В щеку можно.

И Тихонин осторожно поцеловал Марию в щеку, несильно пахнувшую мылом из ромашки; прильнул к щеке и долго так стоял, щекой запоминая почти неосязаемый пух ее щеки. Вот тут у них и вышел разговор о еде. Марии нужно было объясниться, и она, помимо прочего, сказала:

- Я вообще молчу, а она мне говорит, чтобы я не смела говорить о еде как об искусстве – это мещанство; хотя не знаю, где и у каких мещан эта еда, которое – искусство... Но я ведь ей еще и слова не сказала; я просто хочу есть.
- Но кормит же? – предположил Тихонин осторожно, понимая, что Мария говорит ему о матери.
- Да, – ответила ему Мария. – Толочком.
- Это что? – спросил Тихонин. – Я это, кажется, читал; это что-то очень полезное.
- Да, очень... Очень полезное, если не каждый день. И если делать его по-настоящему. Толочь овес, чтобы выходило очень мелко, как мука. Потом обжаривать, потом – неважно, что потом. Ей для меня толочь некогда. И не умеет; я тоже не умею. И нету русской печки, чтобы запаривать. И доставать, искать овес в продаже ей лень, а хлопья почему-то не годятся. Она мешает мне обычную муку с водой и кипятит. Я прошу ее хотя бы обжарить муку и потом кипятить, но ей это некогда. Она придумала теорию. Для нее это теория, а для меня – практика, жизнь каждого дня.

Тихонин удивился:

- Какую можно вывести теорию из муки на воде?
- Еще какую! – заверила его Мария. – «Весь наш великий народ, – она мне говорит, – то есть его трудовое большинство веками ело толокно. И этот весь народ на одном лишь толокне воздвиг великую страну: совершал открытия, дождался революции, всех победил и полетел в космос... да, на одном лишь толокне». Поэто-

му она следит, чтобы я не съела чего лишнего, и я всегда хочу есть.

- Не только ведь на толокне, – осторожно заметил ей Тихонин. – Было же, наверно, какое-то разнообразие... Мне кажется, что с нею можно и поспорить.
- С ней нельзя спорить, она и стукнуть может. Она ударит не раздумывая. Но про разнообразие она все понимает. И уже пробует перевести меня на тюрю. Тюрю, она мне говорит, сам Лев Толстой пробовал и нахваливал.
- Про тюрю я не знаю ничего, – сказал Тихонин быстро – и соврал.
- Конечно, тюрю делать проще – это вам не толокно толочь, – продолжила Мария с непонятым увлечением. – Берешь хлеб, греешь воду, режешь лук. Все это перемешиваешь – и ешь себе, радуйся, еще и радуй Льва Толстого.
- Ну и как? – робко спросил Тихонин.
- Не знаю, я от тюри отказалась, и у меня теперь моральные проблемы. Я сегодня ничего не ела, потому что в тюре – лук, и я об этом говорила, а у меня свидание с тобой: нехорошо бы вышло... – Мария, помолчав, спросила тихо: – У нас свидание, ведь правда?
- Да, – ответил ей Тихонин не раздумывая и сам услышал, как дрогнул его голос.

Они договорились в другой раз встретиться в кино, на чехословацком пародийном вестерне «Лимонадный Джо». Тихонин посмотрел его впервые, еще когда ходил в пятый класс. Он помнил, как тогда смеялся, и надеялся, что «Лимонадный Джо» хотя б на полтора часа отвлечет Марию от ее моральных проблем. В день свидания он попросил свою мать испечь пирог с мясом так, как она умеет: чтобы побольше было мяса... Но оказалось, мяса в доме нет, зато отец принес с рыбалки много плотвы и окуней – и вновь пропал на адовой рыбалке: опять бог весть когда объявится... Тихонин вспомнил, как на излете своего самого страшного запоя отец уже не мог принимать никакой иной еды, кроме тюри, но только тюря та была не на воде – на водке; отец хлебал ее столовой ложкой, и умер бы тогда, но испугался, а что он ел потом и что ест каждый день, никто не знал: он дома не бывал неделями и вряд ли голодал: кто ж голодает на сплошной охоте да рыбалке?

Тихонин просил мать испечь пирог необычных габаритов, то есть не размером с противень, как она делала всегда, но чтобы можно было принести его в руках и, не разрезая, съесть на лавочке где-нибудь в тихом сквере напротив кинотеатра

«Молодежный». И Зинаида Алексеевна послушно испекла не то чтобы большой, но и не маленький, размером с деловую папку пирог с рыбной начинкой, в котором рыбы было много, а тесто было тонким – такие пироги у Зинаиды Алексеевны и лучше получались, чем мясные.

Тихонин завернул пирог, еще горячий, в два слоя вощеной бумаги, спрятал его в портфель, потом встретился с Марией, они сели на автобус и отправились в дальний пригород Пытавина – там на краю шоссе республиканского значения, в кинотеатре «Молодежный», шел «Лимонадный Джо».

После сеанса, гогоча и фыркая, и передразнивая персонажей фильма, они перебежали на другую сторону шоссе и, чтобы далеко не ходить, сели в скверике, в тени кустов акации, на лавочку – прямо напротив кинотеатра. Машины мчались мимо них, вздымая пыль. Полз гусеничный трактор, кромсая траками горячее зерно асфальта...

– Ты бы съела что-нибудь? – спросил Тихонин у Марии, улыбаясь, – и улыбка оказалась неуместной: Мария посмотрела на него недобро. Тихонин вынул из портфеля что принес и молча начал на коленях разворачивать вощеную бумагу...

Мимо них ехал самосвал, нагруженный горою щебня; белая пыль стояла в воздухе над кузовом, густо сочилась на асфальт из-под болтающегося заднего борта... И вдруг откуда-то ударил плотный, сильный ветер, сорвал со щебня толщу пыли – самосвал уже давно проехал, а густая пыль, встав и колеблясь в воздухе, как занавес, заслонила собой наглухо фасад кинотеатра; Тихонин закрыл грудью и обхватил колени вмиг запылившимися рукавами пиджака и этим спас пирог; ветер стих и замер; пыль, опустившись на асфальт, вновь взмыла, заклубилась напоследок мягким облаком, а когда совсем осела, Тихонин и Мария увидели перед собой двоих: рослую, прямую женщину немолодых, но и нестарых лет – и с нею низенького, быстрого и рыхлого мужчину с бородой: оба шли через дорогу от кинотеатра, держась за руки и приближаясь. Мария встала с лавочки, подалась им навстречу, но сдержалась и осталась стоять как стояла. Тихонин догадался: это мать Марии, а кто был тот мужчина, он совсем не знал – о нем Мария не рассказывала...

– И ты, я вижу, посетила сей сеанс, – с насмешливым удивлением сказала женщина Марии, едва ее увидев и приблизившись вплотную. Тихонину она слегка кивнула головой: – Здравствуй,

мальчик... А мы вот к началу опоздали: Владлен Васильевич копался, как всегда. Садись в темноте уже, и вас, конечно, не заметили... Что это пахнет, мальчик? Что ты там прячешь? Тихонин, не вставая, выпрямился, убрал руки с колен и развел их в стороны:

– Пирог... С плотвой и окунем.
– Ну-ка, – сказала с любопытством мать Марии, сняла развернутый пирог с его колен, отщипнула от уголка и отправила отщипанное в рот; вдумчиво распробовала и сказала: – Чудесная выпечка. Как будто созданная самой природой.

Она разломила пирог надвое, одну половину передала Владлену Васильевичу, другую взялась съесть сама... И съела. Потом ждала, когда Владлен Васильевич покончит со своим куском. И лишь когда, доев, он произнес:

– Съедобно, – она спросила строго:
– Кто пек?
– Мама, конечно, – ответил ей Тихонин.
– Еще бы, – согласилась мать Марии, – кто, как не мама? Я могла бы и не спрашивать. Передай ей наше пионерское спасибо. Шутка.

Она уверенно взяла Марию за руку повыше локтя:
– Что стоишь столбом? Встала тут, как памятник самой себе. Ты заслужи его сначала, этот памятник... Потопали домой. Автобус ждать не будем: всем нам следует побольше ходить пешком. Расскажешь по дороге, как тебе это идиотское кино. И попрощайся с мальчиком.

Они уходили втроем по обочине шоссе, и Тихонин глядел им вслед.

Владлен Васильевич остановился, будто споткнулся, и поспешил вернуться к нему торопливой, сумбурной походкой, неловко сдерживая ее, чтобы не побежать... Осторожно похлопал Тихонина по плечу и сказал:

– Ты извини, мне показалось, ты на нее глядел как-то что ли криво, без почтения.
– На кого? – счел нужным уточнить Тихонин.
– На Тамару, маму Маши... Это ты напрасно, это жаль. Ты же ее совсем не знаешь. Ты вот, к примеру, был на ее лекции в четверг, в Доме культуры строителей? Там у нее кружок.
– Я не был и кружка не знаю, – сказал Тихонин.
Владлен Васильевич будто не поверил:
– В четверг? О Маяковском?
– Не был.

– Да как же так? – был поражен Владлен Васильевич, но тут же и смирился. – Ну хорошо... – Он тяжело вздохнул, как если бы все было очень плохо, и вдруг продекламировал – негромко,

– Он это серьезно? – спросил Тихонин у Марии, прочтя ей вслух эти и другие выразительные строки. – Нет, ты мне скажи; ты его лучше знаешь: он шутит или дразнится?

Мария не ответила. Она сидела рядом с ним на берегу ручья, впадающего в Озеро, на поваленном бобрами березовом стволе, и не смотрела на Тихонина, как если бы была им недовольна, и даже прятала лицо в тени увядших березовых листьев. Он попытался заглянуть ей в лицо, чтобы понять ее, и заглянул, и понял: ее щека распухла, и на ней, как с ужасом подумалось Тихонину, горел ожог от утюга. Он и спросил:

– Ты обожглась?

– Ты что, дурак? – Мария с ненавистью посмотрела ему в глаза. – Чем можно так обжечься?.. Нет, я не обожглась. Это она мне по щеке отвесила, со всего размаху, как она умеет.

– За что?

– Было б за что, вообще убила б, – ответила Мария шуткой, в те времена известной даже детям, тем самым давая понять, что разговор продолжать не намерена и нечего ей задавать дурацкие вопросы.

К счастью, бобер, проплывший мимо, блеснув на миг своей скользкой шерстью, отвлек и взволновал ее до визга, а то бы неизвестно, какую тяжесть в душе унесли Мария и Тихонин с того свидания. После него Тихонин, тем не менее, страдал.

Он день за днем пытался вообразить во всех деталях, как всего лишь за какой-то миг до того, как тяжелая рука Тамары размахнулась для удара по щеке, он, Тихонин, вдруг каким-то образом оказывается рядом, успевает перехватить руку, удержать – и продолжает удерживать ее, железно сжав... После, руки не выпуская и глядя матери Марии прямо в глаза, он негромко, но внушительно, очень спокойно проговаривает, чтобы она не смела больше никогда даже подумать о подобном, иначе... Он любил придумывать, страдая, что было бы иначе, и это оказалось для его воображения задачей потруднее, чем вообразить ее ответный взгляд, который он всего за пару встреч сумел неплохо изучить. Если, для примера, синие глаза Марии, ее дочери, были всегда широко раскрыты и глядели с недоумением, плохо скрываемым тяжелыми очками, и оставалось только угадать, чему Мария недоумевает; понять: это безрадостное недоумение или счастливое, – то взгляд прозрачных глаз Тамары всегда бывал рассеянным и ускользающим. Стоило лишь взглянуть ей прямо

в глаза – и взгляд ее соскальзывал куда-то вниз и в сторону, как дождевая капля по стеклу при сильном ветре... Тихонин брел, когда бродил один, и бормотал, в воображении своем переменяя этот тусклый взгляд суровыми словами, которые он мог бы ей сказать, сумеет ли он оказаться там и защитить собой Марию... Он ненадолго усмирив свое страдание, вдруг догадавшись, что он должен сделать так, чтобы всегда быть с Марией вместе, не отпускать ее ни на минуту и ни на шаг не отходить – и пусть тогда Тамара, Тамара Святославовна, только посмеет к ней приблизиться, пусть лишь попробует при нем сказать Марии, как привыкла: «...Где ты все время пропадаешь, и что ты все передо мной маячишь? Меня от тебя тошнит; лучше бы ты вообще не родилась или ненадолго родилась, на чуть-чуть, и я бы о тебе всю жизнь спокойно горевала».

Тихонин сообщил, вернее, выпалил свой план Марии: теперь они, как говорили в старых книгах, помолвлены, а это значит, что Мария – под его защитой все два года, пока их отношения не узаконит государство.

– Три года, три, – поправила Мария, – мне все-таки еще пятнадцать.

– Пусть будет три. – Готовый ко всему Тихонин не стал спорить, но помрачнел немного, заподозрив, что Мария его планом не увлечена.

Их разговор происходил на дальнем от городской площади краю Детского парка, за каруселью с деревянными короткими лошадками, давно утратившими гривы, и облупленными космическими ракетами, похожими на носатых поросят, в нутро которых могли втиснуться разве что детсадовцы.

...Тихонин, замолчав, угрюмо ждал ответа. Тени лип и кленов шевелились в сумерках. Пустой парк шелестел, был тих; ветер нес издали ровное эхо площади...

Вдруг разорвалось небо пополам – и задрезжали, заскрипели железные качели парка, поставленные в ряд. Удар вылился в гул, потом и гул затих вдаль, осталось лишь подобие тихого уличного свиста; когда и свист исчез и в воздухе под кленами и липами осталось лишь беззвучное дрожание, Мария, поглядев вверх, в просвет меж листьями и ветками, произнесла:

– Здравствуй, папа, – немного позже объявила: – Может, это и не он, но так я думаю о каждом, какой бы самолет ни пролетел.

Так Тихонин узнал, что у Марии есть отец, военный летчик из полка, как все в округе звали авиационную часть, с давних пор обосновавшуюся

в соседнем Хнове. Отец Марии в раннем ее детстве ушел из семьи.

- Точнее, от нее ушел: он не настолько терпелив, как я. Я все терплю, а он стерпеть не мог. Он у меня таджик – памирский, то есть горец: это очень гордые и очень красивые (Мария тут невольно повела глазами и косою дрогнула) люди; мы здесь о них ничего не знаем.
- Он и должен быть красивым, – в тон ей сказал Тихонин. – Я что-то такое об этом и думаю, когда на тебя смотрю.
- Да, красивый. Почти как ты, – тихим эхом отозвалась Мария.

Он был готов взлететь, и взмыл бы выше лип и кленов, если бы Мария не приплюснула его к земле, внезапно заявив:

- Я если выйду замуж – обязательно только за летчика; ты уж прости... То есть ты подумай. Ты ведь сейчас замуж меня звал? Я тебя верно поняла?.. Я не против, вот. Но ты меня пойми и подумай об этом.

Тихонин не был удивлен. Как и все пытавинские дети, он вырос под небесный гром боевых самолетов. Как и все пытавинские мальчики, он должен был смириться с тем, что все пытавинские девочки, едва завидев голубой околыш, разом прерывают разговор, их щебетание смолкает, они впадают в транс, тупо глядят перед собой или, наоборот, улыбаются чему-то... Друзья Тихонина могли по звуку в небе и по одной лишь тени, чуть скользнувшей под ногами, уверенно определить, кто над ними пролетел: привычный двадцать первый «МиГ» или тогда еще секретный двадцать пятый; все эти мальчики мысленно примеривали на себя кожаные куртки с воротником из подсиненной овчины и фуражки с темно-голубым околышем, но и выросли все: Тихонин никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них пошел на летчика учиться – разве что прибился кто из них к обслуживанию хновского аэродрома... Под кленами и липами Тихонин твердо обещал Марии и себе стать летчиком.

Мария была для него всем – но и все вокруг оставалось при нем: унылая добрая мама Зинаида Алексеевна, унылая добрая школа имени Бианки; хорошие разные книжки; здесь мы не будем их перечислять – этот перечень обычен для пытливого периферийного подростка тех времен: там было пусть не все, но кое-что – от Буссенара до Боккаччо, от Джека Лондона до Лермонтова, от Гоголя до Гегеля (была такая шутка), в котором, как

был вынужден признаться нам Тихонин, сам черт ни черта не разберет... Мария стала всем и ближе всех, но куда не делись разные хорошие друзья, с которыми Тихонин что ни день посиживал на голых досках трибуны стадиона «Компрессор», где непрерывный сквозной ветер гонял по оттопанному полю неповоротливые комья и обрывки сорной бумаги. Друзья степенно передавали по кругу одну сигарету на всех, с задумчивостью знатоков судили о событиях на настоящих и больших далеких стадионах, попивали прямо из бутылки портвейн и сладкое литовское плодородное вино, не напивались им, но и расстаться друг с другом не могли. Вино вело на Озеро, по берегам его, по глинистым отмелям и перелескам, забраживая в их шумящих головах кураж дурных или дурацких дел, будь то поджоги можжевельных кустов и муравейников или замазывание пластилином прорезей для двухкопеечных монет в обоих телефонах-автоматах железнодорожной станции Пытавино... А с Побегаловым, самым привычным из друзей, самым заядлым из любителей портвейна во дворах улицы Урицкого, да и во всех, к ней примыкающих и проходных дворах, они вдвоем рискованно, но неопасно для спящих жителей Пытавина пошаливали по ночам: с фасадов и дверей неохранных контор сдирали вывески, но не выбрасывали, не били их стекло, но аккуратно и укромно прислоняли их к забору за ближайшими кустами или за поленницами в глубине соседнего двора. Однажды они даже спрятали среди поленниц мотоцикл, который лихо и бесшумно укатили, ухватив с боков за руль, от самого крыльца районного управления внутренних дел. Шума по этому поводу никто не поднимал, но только через две недели мотоцикл снова занял свое место у милицейского крыльца.

В одну такую ночь, когда вокруг стояла тишина, а в головах шумело, Тихонин с Побегаловым проникли в дом на улице Челюскинской, готовый к сносу, опустевший и опустошенный, но пока что не разрушенный. В том доме ночь была непроглядной уличной, где кое-где светили фонари. Тихонин, размягченный сладким яблочным вином, там ощутил себя разъятым и рассыпанным на невидимые мелкие частицы, растворившиеся в затхлой тьме и ставшие ее запахом – наряду с запахами ржавых матрасных пружин, ссохшихся драных обоев, лежалой асбестовой пыли, горелого посудного железа, клеенки, извести и раскрошившейся от времени резины... Шевельнувшись и пошмыгав, невидимый Побегалов погромел коробком спичек, чиркнул, осветил перед собой клочок осыпавшей-

ся штукатурки. Выдрал две ломкие полоски дранки, запалил их на концах, словно лучину, одну отдал Тихонину, другую оставил себе.

Они шли длинным коридором в коконе слабого света, в слабом шуме собственных шагов, спотыкаясь обо что-то на грубых досках пола, невольно останавливались перед каждой открытой или выломанной дверью, за каждой из которых стеной стояла тьма. Шагнув через один порог во тьму, увидели, внося с собою свет, черную железную кровать в углу с поблескивающими в свете горячей дранки никелированными шариками на прутьях спинки – Тихонин отвинтил и отдал Побегалову три шарика, остальные, должно быть залипшие от времени, не поддались, – и Побегалов положил все три себе в карман... Оказавшись за другим порогом, Тихонин вскрикнул от жути: в темном углу там стоял и молчал человек. Наладив дыхание и подняв над головой дранку, Тихонин осветил тот страшный угол и увидел запыленный портновский манекен на деревянной ножке...

Потом в далекой коридорной глубине затеплился чужой неясный свет; дранка, сгорев, стихла и погасла; тот желтый тихий свет притягивал к себе – Тихонин с Побегаловым прошли коридор до конца и встали вдруг перед проломом в стене, за которым угадывался освещенный двор.

Двор, залитый бетоном, с высоким бетонным забором, по верху которого тянулась, потрепкая и кое-где побрызгивая электрическими искрами, колючая проволока, и над которым нависала, освещая желтым светом стену дома и бетон, большая лампа, забранная проволочным забралом; весь этот двор было пусто; лишь в самом дальнем и темном его углу громоздилось темное подобие контейнера или большого мусорного бака. Тихонин с Побегаловым без слов обошли все в поисках выхода и наткнулись на широкие железные ворота, наглухо запертые... Они направились уныло к знакомому пролому, чтобы выйти прочь, как и вошли, сквозь темный дом, но тут над ними взвыла, оглушив, короткая сирена, вспыхнул прожектор на воротах, и луч его ударил больно по глазам; ворота, раскрываясь, загремели и запылились, и во двор вбежал, вжимая головы в погоны и придерживая на боках кобуры с табельным оружием, испуганный милицейский патруль.

Придаться было вроде не к чему: руки задержанных подростков были пусты, и в карманах было пусто, если не считать трех шариков, коробки спичек и полбутылки плодового вина в кармане Побегалова, и было всем понятно, как подрост-

ки оказались ненароком среди ночи на хозяйственном дворе универмага «Выдвиженец» – их даже сдержанно поблагодарили за невольно обнаруженную ими лазейку на хоздвор, но в ходе разговора Побегалов, надеясь, что ли, угодить милиции или, возможно, даже ей понравится, по своему почину рассказал об остекленных вывесках, снятых с фасадов государственных контор, и о мотоцикле, уведенном за пленницы...

– Это же мой! Мой «Иж»! – развеселился самый молодой милиционер. – А я-то голову ломал: как это он, не заведенный, с пустым баком, умудрился от меня сбежать?.. Но от меня так просто не сбежишь, и я его легко нашел. – Он указал сквозь зарешеченное окно управления на соседний двор. – Там, за дровами... И вы, ребята, не сбежите.

Комиссия по делам несовершеннолетних пропесочила, предупредила обо всем и отпустила Побегалова: ему зачли охотное сотрудничество с милицией.

Тихонин угодил в колонию.

В те времена умели и любили из всякой безнадёжной потери времени, дарованного человеку при рождении для свободной полноценной жизни, выщипывать надежду – то есть извлекать жизнеутверждающие уроки, вроде «болезнь его преобразила», или «долгая борьба за кусок хлеба не озлобила его, но приучила к состраданию», или «два года армии сделали его мужчиной», ну и, конечно же, «тюрьма пошла ему на пользу». Тихонин вышел на свободу оптимистом.

«В колонии могло все плохо кончиться, – говорил он нам не раз, – я мог там стать *борзым*, по моей привычке верховодить, но умудрился избежать этой погибельной дорожки. *Подборзевшим* или, тем паче, *чушкой* при моих наклонностях я не мог стать по определению. Там я обрел новый для себя, недетский взгляд на жизнь; у меня с тех пор фасеточное зрение, если можно так сказать. И я открыл в себе источник тогда еще неведомых мне, неиссякаемых возможностей. Достаточно хотя бы вспомнить всю историю с Шекспиром: кое-кто из вас должен ее помнить хорошо...»

Всем тем, кого судьба не только лишь свела с Тихониным в колонии, но и оставила при нем на свободе, – еще бы нам не помнить о Шекспире!

Некий воспитатель, понаблюдав его отпор попыткам и борзых, и подборзевших обломать его, выдернул Тихонина из их толпы и поместил в библиотеку, с предписанием все там рассортировать,

расставить правильно по полкам, при этом ежедневно протирать от пыли каждый переплет, мыть пол и, главное, вести учет всему, что взято, что возвращено в библиотеку, а что задержано и не возвращается. Кроме того, Тихонин должен был составить краткое описание или, как сегодня бы сказали, аннотацию каждой из библиотечных книг, дабы сделать легким и осмысленным процесс их выбора... Конечно же, он не успел описать все книги той библиотеки: на это, думаем, понадобился бы срок, предусмотренный за куда более тяжелые проступки, чем угон мотоцикла за пленницу, – но сделал он немало. Своим тогда еще нетвердым почерком он изо дня в день писал примерно вот что: «Пушкин А. С. “Дубровский”. Жили два боевых друга, Троекуров и Дубровский. Троекуров был богатый и капризный. Дубровский был бедный, но гордый. Дубровский рассердил своего богатого друга, и тот стал мстить: наслал на него кучу чиновников. Они отобрали по суду у Дубровского его родной дом и довели до смерти. Они были рады услужить Троекурову, но рано радовались. Им пришлось заживо сгореть всем в этом доме. И никто их не пожалел, даже простой народ. Котенка пожалели и спасли, а их никто спасать не стал. У Дубровского был сын. У Троекурова была дочь. Советую прочесть, что было дальше. Скажу только одно: они друг друга полюбили...» Или вот еще, на выбор: «Л. Ошанин. “Стихи”. Многие из этих стихов известны как песни: “Ленин всегда живой”, “Дети разных народов” и другие. Мы их всегда поем на построении и знаем наизусть. Читать уже необязательно» – и все в том же духе, и под каждой, как мы говорим сегодня, аннотацией Тихонин ставил гордо свою подпись: «Мих. Тихонин».

Должно быть, эти аннотации и надоумили уже упомянутого воспитателя, имени которого, к досаде нашей, мы уже не помним, предложить Тихонину, чтобы он выбрал что-то подходящее для смотра художественной самодеятельности и подготовил вместе с другими воспитанниками что-то вроде литературной композиции или литмонтажа, как тогда это называли.

Тихонин выбрал трагедию Шекспира «Тит Андроник».

Сейчас уже трудно сказать, чем был обусловлен этот выбор. Сам Тихонин утверждал потом, что ему надо было как-нибудь увлечь будущих исполнителей, к Шекспиру равнодушных и не слишком расположенных к нему самому. Еще не зная пьесы даже понаслышке, он случайно, любопыт-

ства ради, взялся прочитать к ней послесловие и понял, что нашел в нем и подсказку, и наводку: «Убийства следуют одно за другим. Тит Андроник закалывает своего сына... Сын Тамиры Деметрий убивает Бассиана... сыновей которого казнят... Деметрий и его брат насилуют дочь Тита, отрезают ей язык и руки. Тит отрезает себе левую руку... Марк Аарон закалывает кормилицу царицы... Лавиния в обручках рук держит таз, в который стекает кровь ее обидчиков... ее убивает отец, чтобы она не пережила своего позора» – и все в таком же роде.

«Четырнадцать убийств, тридцать четыре трупа, три отрубленные головы – таков инвентарь ужасов, наполняющих эту трагедию» – и этот инвентарь вполне мог соблазнить даже тех в детской колонии, кто никогда не брал книг в руки и был безразличен к успеху на подмостках художественной самодеятельности. Прочитав саму трагедию, Тихонин не испугался, что можно объяснить лишь совершенной безответственностью, отличающей несовершеннолетних. Он никогда не видел ничего в театре; он не скрывал от матери, как ему скуловоротно скучно от телестановок, которыми она коротает жизнь; у него не было опыта даже декламации стихов со школьной сцены – но ему хватило здравого ума не строить из себя режиссера, не громоздить неподъемное зрелище, не воспринимать пьесу Шекспира как приказ, обязательный к исполнению, но как-то выкрутиться с тем, что есть, – не заносясь и не задумываясь.

В пьесе был двадцать один персонаж и среди них – черный ребенок, о котором лучше всего было сразу забыть, как и о не посчитанных Шекспиром сенаторах, трибунах, военачальниках, вождях. В распоряжении Тихонина оказалось всего тринадцать исполнителей, включая его самого... Предупреждая возможные предположения и забегая далеко вперед, скажем, что никогда больше Тихонин не имел с театром никакого дела, да и к кинематографу ни разу не приблизился. Мы даже не уверены, что он когда-нибудь потом бывал в театре или смотрел кино, кроме как в той же колонии, где приходилось ходить строем в кинозал. Ему хватило на всю жизнь «Лимонадного Джо», о котором он нередко вспоминал с мечтательным удовольствием.

Вот что увидели воспитанники и воспитатели колонии. На сцене перед экраном кинозала тринадцать человек, выстроившись в ряд, поочередно произносили монологи из «Тита Андроника»,

сильно сокращенные Тихониным, чтобы уклониться от лишних, непонятных слов; иные монологи были им выпущены напрочь. Тринадцать исполнителей разделили у него столько же ролей: каждый читал с листа за нескольких, за разных персонажей, и всякой реплике, тем более любому монологу предшествовал рассказ Тихонина о том, что происходит по сюжету пьесы, в чем смысл того, что предстоит услышать публике. Все это было бы обычной литературной композицией, чтением вслух на тринадцать голосов, если бы не фехтование по ходу действия на деревянных мечях и со щитами, а еще чаще – попросту закалывание персонажа без борьбы: оно особенно понравилось тем юным зрителям... А уж явление Лавинии, которой насильники отрезали обе руки и вырвали язык, чтобы она не могла дать показаний, в придачу к отрезанию своей руки самим Титом Андроником, который попытался этим выкупить жизни своих сыновей, но был обманут, – вообще заставило вспотеть публику в серых, редко синих робах.

Происходило это так. На клубной сцене перед белой простыней экрана, занавешенного брезентом, Тихонин рассказал, что произошло с Лавинией – и в подтверждение она была предъявлена в исполнении жены начальника режима, закутанной, как в кокон, от шеи и до пяток, в сплошной брезент, скрывающий обе руки, прижатые брезентом к телу, что подразумевало их отсутствие. Весь этот тесный кокон был, словно он пропитан кровью, беспорядочно измазан буро-красной краской, которой собирались красить кровлю медицинского изолятора. Лицо Лавинии было как бы окровавлено вокруг рта – и рот, как будто безязыкий, то мучительно мычал, то широко, с оскалом, открывался, и глаза Лавинии пугающе вращались...

Для сцены отрубания руки Титу Андронику Тихонину на кухне выдали большой топор для рубки мяса – там же Тихонин раздобыл порядочную пень-колоду: она вполне сошла за плаху.

И вот как это было, почти строго по Шекспиру, если не заметить сокращений.

Входит Арон.

АРОН. Андроник! Государь мой цезарь шлет приказ свой: если сыновей ты любишь, пусть Люций, Марк или сам ты, старый Тит – любой из вас, – себе отрубит руку и цезарю пошлет, а он за это тебе вер-

нет живыми сыновей. То будет выкуп их за преступленья.

ТИТ. О, добрый цезарь! Милый мой Арон! Певал ли ворон с жаворонком сходно, несущем о восходе солнца весть? Всем сердцем рад я государю руку послать. – Арон, ты мне ее отсечь поможешь.

...Тут Люций предложил свою руку, Марк – свою, но Тит был непреклонен:

Друзья, не будем спорить: подобает засохшее растение вырывать; а посему мою рубите руку.

...Люций и Марк еще раз попытались ему возразить, и Тит решил схитрить, чтобы их не обижать, и притворился, будто он согласен, лишь бы их удалить:

Кончайте сговор! Сохраню я руку.

ЛЮЦИЙ. Я принесу топор.

МАРК. Я в ход пушу топор.

Позже, в подробном рапорте, направленном в инстанции, было отмечено, что здесь из зала раздались выкрики следующего содержания: «Куда вы? Вернитесь!.. Да вот же топор, у него!» – и это соответствовало действительности, потому что топор, как оказалось, уже был в руках Арона... Тихонин вынужден был обернуться и крикнуть в зал: «Хватит вам! Так у Шекспира!» После проверки выяснилось, что так и в самом деле было у Шекспира: Марк с Люцием отправились за топором, наверно, не увидев топора в руках Арона.

...Тихонин-Тит вновь встал к залу спиной, оголил левую руку по локоть, опустил ее на колени и медленно, так, чтобы никто не сомневался, положил ее на плаху...

АРОН (*в сторону*). Коль это звать обманом, – буду честным и никогда не обману я так, но по другому обману я вас, с чем согласитесь, не пройдет и часа.

...Арон имел в виду, что через час сыновей Тита все-таки казнят, а пока он на глазах у всего зала занес топор над плахой, почти не видной залу за спиной Тита, стоящего перед нею на коленях. Но весь зал знал, что голая рука Тита лежит на ней... Покачав над головой тяжелым топором, Арон

обрушил его лезвие на плаху с оборвавшим душу хряском. Зал закричал. Тихонин же, не оборачиваясь и не вставая с колен, окунул по локоть руку в ведро с той самой буро-красной краской, спрятанной за пнем-колодой, потом встал во весь рост и поднял руку вверх, как будто всю в крови, что подразумевало: она отрублена... Нервы полопались, и весь зал был вскрик: пожалуй, можно так сказать, если иметь в виду, что этот миг ничем иным и не запомнился: ни самим зрелищем, ни запахом в рядах, ни слабеньким вечерним солнцем в окнах, прихмуренным северными тучами, – одним лишь жутким криком сотен молодых и грубых глоток... Пришлось жестоко восстанавливать спокойствие; смотр был прерван, исполнителей и зрителей построили и развели по общежитиям; топор и плаху отнесли на кухню, ведро с краской вернули на склад. И, как это положено, то есть на всякий случай, рапортовали по инстанции о небывалом происшествии. К рапорту была прикреплена объяснительная записка воспитателя, ответственного за всю эту самодеятельность, с попыткой объяснить, как он умудрился дать дорогу всему этому никем не утвержденному безобразию. Он объяснил свою проруху неопытностью и тем еще, что отчего-то был уверен: Шекспир давно проверен, а он, как оказалось, не везде и не во всем возвышен, – короче, бдительности не хватило прочитать пьесу заранее, отчего была проявлена халатность...

Но непонятным оставалось, в чем виноват воспитанник Тихонин: на случай таких случаев инструкций не нашлось, тем более что случаев таких нигде пока что не случалось, и как квалифицировать случившееся, было неизвестно. Рапорт (топор в нем даже не упоминался) заканчивался просьбой об указаниях, но вместо указаний в колонию был прислан психолог с предписанием составить свой профессиональный рапорт, на основании которого должны были последовать и указания: дело было новое, по тем временам почти неслыханное; персонал колонии весь подобрался внутренне и как бы замер в ожидании его, психолога, вердикта. Психолог проявил себя веселым парнем. Он потребовал, чтобы представление повторили, для него одного. Начальники колонии на это согласились, но плаху с топором и краску выдать отказались – Тихонину на этот раз не пришлось пачкаться, но сцена вышла смазанной. Потом психолог долго говорил – и с ним, и с каждым исполнителем; он вызывал к себе других воспитанников по одному и долго, целую не-

делю писал свой рапорт, полный непонятно как произносимых и неизвестно что нам говорящих терминов и оборотов, которые мы даже здесь не рискнем воспроизвести по памяти, но его вывод был понятен: представление малоизвестной пьесы Шекспира не было злонамеренным, но канализировало латентную агрессию воспитанников колонии, что способствовало недопущению и, возможно, погашению назревающих конфликтов и проявлений немотивированного насилия. Ввиду вышеизложенного организатор представления заслуживает поощрения. Рапорт был принят во внимание. Указания инстанций свелись к тому, что не будет указаний, то есть виновных – не искать, от поощрений воздержаться и неуклонно повышать утвержденные показатели воспитательной работы... А между тем произошло событие, которое Тихонин полагал потом важнейшим в своей жизни.

В ожидании последствий рапорта психолога, тем более тревожном, что содержания его никто не знал, Тихонин был на время отстранен от обязанностей по библиотеке. И даже в эти дни тревоги и тоски были хорошие минуты: когда, к примеру, его посылали сбивать лед с крыши общежития. С нее был виден скудный перелесок, за ним – дома поселка, стальные нити рельсов, огибающих по гнutoй, словно серп, дуге и перелесок, и холмы за ним. Если везло, Тихонин видел с крыши, как к поселку быстро скользит по рельсам поезд, и можно было погадать, откуда он ползет: из краевого центра или из совсем далеких городов. Однажды на одном из поездов к нему приехала Мария.

Тихонин мог и не узнать об этом: далеко не родственницу, тем более не близкую, к тому же несовершеннолетнюю, ее к нему бы нипочем не допустили и не сочли бы нужным сообщить о ней. Но она не для того проехала в плацкартном столько сотен километров, чтобы остаться ни с чем: нашла сочувствие у жителей поселка; те достучались до кого необходимо за воротами колонии, и Тихонин был направлен в поселковую библиотеку с каким-то поручением – в сопровождении, однако, контролера. Тот назначил время возвращения и отправился до времени к себе домой: он сам был жителем поселка.

Тихонин и Мария встретились в пристанционном сквере, качелями и каруселями похожем на Детский парк в Пытавине. Мария принесла с собой рыбный пирог, завернутый в газету, сказала: – Это тебе не от твоей мамы: он бы уже испортился в дороге. Я здесь его взяла в кулинарии.

Тот мы когда-то не попробовали – теперь попробуем хоть этот. От твоей мамы тебе письмо. Тихонин взял и прочитал письмо, и они съели пирог.

- Выходит, летчиком тебе уже не быть? – с насмешливой печалью спросила Мария.
- Это почему еще? – сказал Тихонин, удивившись. – Конечно, еще буду.

И Мария отозвалась:

- Это хорошо. Но если даже и не будешь, я все равно тебя дождусь отсюда.

После того как они съели пирог, у них оставался еще час времени. О том, где и как они его провели, наше предание умалчивает. Этого никто из нас не знает... Когда они уже расстались и контролер повел Тихонина в колонию, на ходу выказывая любопытство – тот был нем; вернулись за забор – молчал и там.

...Комиссии тем временем работали и заседали своим порядком, инстанции решали, кто досрочно может выйти на свободу, а кто пусть дальше исправляется. Тихонин вышел: рапорт психолога помог, а вскоре с него сняли и судимость. Очищенный, он мог уже пойти учиться и на летчика, но перед тем окончил школу с похвалой, почетной грамотой и ласковой характеристикой. В оренбургское летное он поступил с первого раза: и потому, что был толков, и благодаря замолвленным словечкам хновских офицеров, – *по благу*, как мы это называли. Тихонин выбрал Оренбург не потому, что там учился сам Гагарин, а потому что Оренбург – уральский город, как и Свердловск: туда, на исторический Уральского университета, была зачислена Мария. Она выбрала Урал еще и потому, что он был далек от Пытавина. Если в Москву или в Ленинград ее мать могла б наведаться легко и с удовольствием, то вряд ли, справедливо думала Мария, она когда-нибудь нагрянет к ней в Свердловск.

Тихонин, отправляясь на Урал ради Марии, надеялся с ней видаться легко и часто. Он не учел, насколько строги правила в военном училище, и, главное, не представлял, до чего велик Урал: где Оренбург – и где Свердловск. Пришлось ждать отпуска – и, не поехав к матери в Пытавино, он отправился к Марии. Они вновь встретились, и вновь никто из нас не знает, как проходила встреча.

Тоскуя в Оренбурге о Марии и спасаясь от тоски по ней лишь в небе, в летные часы, и внутренней работой, Тихонин ощутил себя внезапно религиозным человеком: возможно, кто-то из продвинутых курсантов втайне сообщил ему начат-

ки веры – иначе где их было взять в те времена в тисках военной дисциплины. Позже Тихонин не скрывал: как только мысли о Марии становились совсем уж непереносимыми, он спасал себя молитвой, ясное дело, молчаливой – молиться вслух тогда казалось подозрительной дикостью.

12 апреля ... года курсант Тихонин по поручению командования выступил с докладом о Гагарине перед учащимися одной из оренбургских школ. К концу своего выступления он, видимо, устал или, наверное, заскучал – глянул в окно, на школьный сквер, где пузырилась и шумела уральская весна, и после долгого невнятного молчания – не школьникам: кому-то за окном, кому-то наверху, кому-то поверх сугробов, с шипением съедаемых синим уксусом весны, – сказал вслух то, о чем, похоже, думал во все время своего доклада:

- Ну да, мечта и подготовочка что надо, и хотелось славы, главное, хотелось пользы, я все это понимаю, да и храбр он был, еще бы. Но как он все-таки не умер перед самым стартом, когда сидел в железной бочке на конце трубы, под завязку закачанной адской горючкой?.. Да, он писал жене, что он верит в технику, но то было письмо на случай гибели, то есть не очень-то он верил в технику... Как он не умер там со страху? Я тут все думал, думал, и вот что я надумал: *смирение*... – Тихонин отвернулся от окна; будто удивившись, вспомнил о школьниках, сидящих перед ним, и так закончил: – Да, ребята, это – то самое *смирение*...

Всю мысль о смирении он, даже если и додумал, не успел договорить: директор школы его умело перебила, и звонок на перемену кстати прозвенел...

В училище все стало известно, но скандала не случилось: Тихонину было предложено по-тихому убраться; ему и справку выдали о состоянии здоровья, согласно этой справке для военной службы никуда не годного, – вместе со справкой о неполном высшем военном образовании. Месяц-другой он проболтался по стране, то-се попробовал, что-то примеривал к себе, но ничто не прокатило или было влом, – и занесло его довольно далеко, в Узбекистан. Он там служил вторым пилотом или штурманом в сельхозавиации. Пока его биплан «Ан-2», прозванный нами кукурузником, облетал раскаленные зноем поля, а глядя на них сверху, всего верней было сказать *моря* хлопчатника, окутывая их облаками химикатов, Тихонин вниз, на хлопок, не гля-

дел: он весь полет просиживал на дне кабины, где было не так жарко, и в той тени учил английский: сначала робко, пробуя читать со словарем, а после и уверенно читая – сначала лимерики Лира, потом и, вполне сносно, стихи Киплинга и Хаусмана... Да, времени Тихонин не терял, но он не знал, куда оно идет, и тосковал, как мог, смиренно. А время шло себе и шло и, словно бы в награду за смирение, однажды привело к нему Марию.

Всем нам понятно, что они посылали друг другу письма, отправляли открытки и нередко говорили *по межгороду*, и, конечно же, Тихонин встречу предвкушал, но все же схождение Марии с подножки запыленного вагона на перрон кокандского вокзала его ошеломило так, будто она спустилась с неба. С собой у нее были венгерский голубой баул и *абалаковский* рюкзак, выбеленный частой стиркой и сухим солнцем приазовской степи, – Мария в той степи копала скифские курганы на учебной практике. Об этом солнце и о той степи она рассказывала с такой многозначительной мечтательностью, с такими долгими, мучительными паузами, что Тихонин начал ревновать ее к археологии. Но должен был смириться с тем, что и к нему она попала благодаря очередной археологической экспедиции – зато приехала заранее, чтобы с ним побыть, ни на кого вокруг не озираясь. Об их узбекской встрече нам кое-что известно: о том, как прямо на платформе они так тесно обнялись, что Тихонин грудью ощутил твердый жар ее груди; еще о том, как в Самарканде – или то была Хива – они провели ночь на каменном полу мечети, в те времена пустой и беспризорной: они так долго не могли уснуть от холода, от шепота песка под ветром за порогом и от шакальих причитаний где-то совсем неподалеку, что вытащили свои спальные мешки на дорогу и, обратясь лицом к ночному небу, до самого рассвета перемигивались со звездами Персея: Мария – с Алгенибом, Тихонин – со звездой Алголь.

Когда Мария наконец с ним попрощалась и отправилась раскапывать могилу одного из слуг Тимура, Тихонин на пять дней, оставшихся от отпуска, слетал в Россию – побыть немного с матерью. Они мало разговаривали в те недолгие пытавинские дни. Почти без слов Тихонин починил в квартире краны, поменял рамы, утеплил, насколько смог, и перестелил полы; она все эти дни, как и всегда, смотрела телепостановки, слушала радиоспектакли, все остальное время их ждала, бродя по дому и почти не замечая сына. Прощаясь с ним, сказала:

– Как я, Миша, завидую тебе. Я всегда мечтала поглядеть на Бухару и Самарканд, когда-то я ими просто бредила, да не увижу никогда уже.

Он заверил мать, что ждет ее в Узбекистане, и оставил на клеенке кроме просто денег еще и деньги на проезд – мать ничего на это не сказала, поговорила напоследок о своем здоровье, с излишними медицинскими подробностями, но без интереса; погладила его сухой ладонью по щеке и отпустила.

...Уже никто не скажет точно, когда впервые прозвучало имя Фил: еще когда Тихонин жил в Коканде или потом, в Петрозаводске, за окраиной которого, в Матросах, Тихонин проработал пару лет механиком при аэродроме *ДОСААФ* – и как то имя прозвучало: изустно, при свидании с Марией, или в ее письме, – но в некий день он бросился в Москву, откуда она должна была вот-вот отправиться в Америку с этим каким-то Филом.

Фил был профессор-археолог, тогда еще совсем нестарый; он по какому-то редчайшему обмену читал в Союзе лекции и, покончив с ними, собирался улететь назад, в Америку, забирая с собой Марию. Тихонин так и не узнал главного: она любила Фила или попросту хотела улететь? В Москве она Тихонину сказала так:

– Мать моя дотуда не дотянется, а то, ты представляешь, она все-таки наведальась в Свердловск. Ты в состоянии вообразить, что мне опять пришлось терпеть и что выслушивать?..

Подробности того, как удалось, преодолев все каверзы и подлости властей, сопровождавшие в ту пору браки с иностранцами, упрямо довести дело до свадьбы, Тихонина не занимали, но ему пришлось узнать их в изобилии. Он от подробностей устал, и не осталось сил спросить: «А как же мы?» – но обещал Марии вовремя быть в Шереметьеве, чтобы проститься с нею в духе того времени: навеки.

Толкового прощания не вышло. В тот необычный день на вылет выстроился чуть ли не десяток рейсов за бугор; никто в бетонной утробе аэропорта не стоял спокойно, в задумчивости или печали, или даже в напряженном ожидании – никто на месте не удерживался и ни на чем, казалось, не задерживал своего ищущего внимания, но, никуда не исчезая, все словно бы струились кто куда одной толпой: толклись и волновались, проскальзывали или напирали, не проскользнув. В этой унылой, как нить, и, как дитя, крикливой суете, над которой

ни на миг не молк утинный крик повторяющихся и перетекающих из одного в другое объявлений, из самой середины заветной очереди к пограничью Мария разглядела и окликнула Тихонина, мятущегося, как пойманный карась, с пучком поникнувших ромашек и бутылкой теплого «Советского шампанского».

Мария коротко представила ему своего Фила; тот подмигнул, с готовностью пожал вяло протянутую руку, из которой выпали ромашки; очередь вдруг сдвинулась вперед на пять шагов, и это взволновало Фила: он, едва ли не припрыгивая, старался заглянуть поверх голов и, прежде чем еще на пять шагов сдвинулась очередь к барьеру, за которым никого, кроме тех, кто был с билетами допущен в очередь, уже не могло быть, потому что не положено, – Фил обернулся, искал глазами, и нашел, и еще раз подмигнул Тихонину.

...Уже ища такси, какое посговорчивее, Тихонин попытался мысленно представить Фила, которого, скользя по нему взглядом, он не сумел запомнить. Но что-то в памяти застряло крепенькое, коренастое, с короткой вздутой шеей и хмурым большим лбом, но зубы улыбались, это Тихонин запомнил хорошо. В такси он постарался их забыть, и вскоре, уже на выезде из Химок, убедил себя, что забыл их блеск навсегда. И у него настали годы, о которых нечего здесь говорить, по крайней мере до тех пор, пока у нас не будет мало-мальски точных о них сведений.

Не всем из нас известно, что на излете тех времен, на их последнем выдохе Тихонин приезжал в Пытавино, чтобы в последний раз увидеть мать и принять ее последний вздох. И уж совсем немногим, скажем, избранным из нас, Тихонин как-то раз признался, что она ему сказала прежде, чем отвернуться навсегда к стене. Ее последние слова его, как он признался, поначалу не задели, он их отнес на счет того, что в тот приезд она уже заметно заговаривалась, – он их нашел в себе намного позже, и они долго потом ныли в нем, как боль...

Мать, бодрствуя в забытии, глядела в больничный потолок, потом, словно проснувшись, вспомнила о сыне, задремавшем возле тумбочки на табуретке, посмотрела на него внимательно, но слепо, будто сквозь него, и сказала ему громко:

– Я твою Марию понимаю; ты ее прости. Я так мечтала поглядеть на тот мир, а чтобы там пожить – о том и не мечтала... Но ты тогда на свет бы не родился и не страдал бы так сейчас – я вижу, как ты весь из-за нее страдаешь, и не

могу уже ничем тебе помочь. – Тут взгляд ее погас, она отвернулась к стене и вздохнула.

Горе развеялось, время переменялось, мы были, как грехи, отпущены в иной, оживленный мир, и хлынули туда не постучав – кто-то из нас однажды повстречал Тихонина у движущейся ленты с багажом в одном из европейских аэропортов. Спросил, как жизнь.

– Это не жизнь, – ответил весело Тихонин, ловко вылавливая и сбрасывая с ленты не по объему легкие тюки, – это один сплошной маршрут.

Тюки все были из полупрозрачной пленки, и, приглядевшись, тот из нас, кому довелось тогда повстречать Тихонина, спросил у него:

– Зачем вам столько подушек? Чтобы поспать в дороге по маршруту, хватило б и одной, ну, двух...

Ответил за Тихонина его хороший друг и постоянный спутник Шен Фин (или Фин Шен, теперь и не упомнишь, – и мы спорили потом: он был кореец или все-таки китаец?): те подушки были подушками, конечно, по всему, но не совсем, – да, это были наволочки, туго набитые волосом. Шен и Тихонин основали необычное в ту пору и довольно прибыльное дело: поставки человеческого волоса в Европу. Длинный, самый ценный волос кос и шевелюр шел на парики. Вихры и лохмы – на шиньоны, а ни на что не годные прядки и обрезки, которые обычно парикмахеры сметают шваброй после стрижки, не дожидаясь, когда подстриженный клиент, налюбовавшись собой в зеркало, уйдет, – те шли на нужды химического производства парфюмерии и галантереи... Хорошее дело и шло хорошо. Фин и Тихонин без усталости мотались по России, повязанные с неведомым числом парикмахерских – теперь уже салонов красоты, студий прически, академий стрижки и даже храмов милоты, – набивали срезанными волосами наволочки, потом везли в Европу покупателям, благо подушки с волосом запретам не подлежали, под ограничения не попадали, акцизами и пошлинами не облагались, в объеме ужимались и не знали перевеса – перемещать их ничего не стоило, кроме неизбежных трат и предусмотрительной мзды двум-трем корешам из таможни...

Но как-то раз к Тихонину и Шену пришли довольно вежливые люди, готовые взять на себя сбор урожая волос на всех тех территориях, где их вежливость имела вес; Тихонину и Шену всего и оставалось дел, что набивать наволочки и сбывать их европейским покупателям. Отказаться от

подобной сделки тогда было не то чтобы невежливо, но невозможно. Тихонин убедил себя, что они теперь защищены, он постарался и Шен Фину привить чувство защищенности; тот рад был это чувство обрести, но не сумел унять в себе тревогу. И был прав. В одном из наших южных городов была задержана группа лиц, которая насильно стригла длинноволосых девушек и женщин, бывало, и мужчин. Из задержанных лиц самым отвратительным было одно, особенное глумливое, с накладной импортной белого золота фиксой во рту: обкорнав наголо очередную жертву, оно всякий раз принуждало ее поглядеть в зеркальце, которое всегда имело при себе, глядело и само, щекой к щеке, и говорило, фиксой матово сверкнув: «Тебе идет», – с тем и отпускало. Тихонин с Шеном поначалу проходили как свидетели; им уже шили соучастие, но мы нашли им подходящих адвокатов, и те сумели доказать всем очевидное: ни Тихонин, ни Фин Шен не могли знать о преступной деятельности банды охотников за волосами и ни о чем таком ужасном с ними не договаривались. Все обошлось, но Фин с Тихониным свернули дело и никогда к нему не возвращались. Тихонину потом нередко снилась жуткая улыбка с фиксой, вызывая тошноту во сне...

После были разные дела, все связанные с переездами: по старым русским деревням, где не осталось жителей, но сохранились брошенные ими избы; их бревна Шен с Тихониным распиливали на пластины – со всеми прихотливыми следами времени и древоотщев – и продавали для обшивки стен в дорогих квартирах или офисах в Европе и за океаном; в России были времена *евроремонта* и подобного декора еще не понимали. Но и в Европе спрос был невелик, чего не скажешь об издержках, и Шен Фин с Тихониным пустились путешествовать по древним типографиям страны, скупая отработанные шрифты из свинцовых сплавов, но и торговля переплавленным печатным металлом увлекала их недолго... Все их недолговечные дела были одним, почти что непрерывным путешествием, тяга к которому их, конечно, связывала – но только ли она? Ведь выйти на любой маршрут можно в любом составе, а всего лучше, как признался нам Тихонин мимоходом, и вовсе одному. Что-то еще соединяло этих двух людей, во всем другом совершенно непохожих. В отличие от Тихонина с его с годами ставшей медной сединой Фин Шен был лыс, как нам казалось, от рождения. Глядел он исподлобья с восточной хитроватостью, как будто сдерживаясь, чтобы вам

не подмигнуть, – но был на самом деле открыт и прям, если не сказать прямодушен. Тихонин же, с его глазами, распахнутыми вам навстречу, как объятья, глядел на вас, не пряча взгляд, но вот характер у него был так устроен, что о нем все сразу и не скажешь; возможно, кое-кто из наших для того затеял эту повесть, чтобы разобраться наконец с его характером...

Но что влекло друг к другу этих двух людей, ни в чем ином не схожих, – это любовь к опере. Вместе они были, если можно так сказать, одной ходячей фонотекой. И в этой фонотеке хранились и звучали только оперы. Слово «звучали» здесь надо понимать буквально: они не так уж часто слушали, зато нередко пели арии из опер на два голоса, не только лишь одни мужские партии, но и лучшие из женских. Если Тихонин напевал один, Фин его слушал в одобрительном молчании. Пел один Фин – слушал Тихонин: блаженствуя, а то и тихо подпевая. Голос Тихонина был негромок, даже глуховат, зато красив и глубок. Фин Шен, напротив, пел сильным и открытым тенором, но, чтобы под Тихонина подстроиться, мог соскользнуть и ниже, в баритон... Да, они оба были дилетанты (положим, все-таки от итальянского *diletto*), но Шен Фину, например, однажды предлагали поступить на оперную сцену, да он не пошел: проблемы с легкими. Фин говорил тогда, что в пыльной духоте подмостков и кулис ему бы было тяжело дышать: «Не петь, а хватать ртом воздух – это мне зачем?» Неустранимые проблемы с легкими с каждым годом множились, пока не стало очевидным: больше Фин не сможет дышать внизу, в долинах, не говоря о городах, – ему показан только воздух гор, причем высокогорья; здесь, среди нас, дышащих чем-то нечистым и густым, он просто задохнется. Тихонин с ним простился, и Шен Фин исчез в горах навеки. О нем говорят разное. О том, что он в Тибете. О том, что в Андах. О том, что он, наоборот, в нормальных европейских Альпах или Пиренеях и что над Пиренеями плывет его «*Una furtiva lacrima*»... Даже о том твердят, будто памирские таджики бросают все свои дела в своих кишлаках или аилах, когда у них над облаками звучит ария графа де Луна из «Трубадура» – никто из нас не сможет это подтвердить, но так говорят.

Точно известно, что с тех пор, как Шен похоронил себя в высокогорье, никто из нас Тихонина поющим никогда не видел и не слышал.

Почти во всех делах, которые Тихонин затевал по всем своим извилистым маршрутам на биваках

и остановках, с Шен Фином, или в одиночку, или на пару с кем-нибудь другим, все у него получалось, и во всем намечалось продолжение; все обещало крепко встать на ноги, однако ноги не хотели вставать крепко; их влекло невесть куда: Тихонин наспех вдруг сворачивался, собирал манатки и снимался с якоря затем лишь, чтобы непонятно где начать с самого сначала непонятно что. Его любое дело зацветало и цвело, а чтоб процветать и процветать – до этого не доходило: Тихонин исчезал, препоручив кому-нибудь из нас или совсем чужим возделанную им делянку. Так было с производством и продажей газировки с сиропом из опавших, но еще без следов порчи, абрикосов, груш и яблок в черноморских городах-курортах, так было и с предоставлением услуг особенных сиделок, все – с приятными и хорошо поставленными голосами: они читали на дому своим клиентам, страдающим бессонницей, тоскующим от старости и просто одиноким, а также маленьким детям или целым семьям, ищущим в себе примирения и покоя, великие истории, леденящие кровь, но согревающие сердце, сочиненные Шахерезадой, Андерсеном, братьями Гримм и русским Афанасьевым, – именно их читали вслух хорошо востребованные сиделки Тихонина... И сказки, и сиропы, и разветвленные команды «новых тамплиеров», продуманно и прихотливо им подобранные для защиты и поддержки наших *челноков* – не только лишь в Стамбуле, Польше и Болгарии, но и по всем челночным маршрутам, – все было брошено на взлете по необъяснимой прихоти Тихонина, причем лишь дважды из-за внешних грубых обстоятельств. Это был уже известный случай с подготовкой и продажей срезанных волос на парики – и еще один, пока еще малоизвестный эпизод, можно сказать, пропавшая глава о том, как Тихонин занимался устройством на работу тех, кто оказывался вдруг в чужой стране без денег и без связей, без хоть какой-нибудь опеки: он был известен в их среде умением найти и предоставить им не абы какой заработок – но по таланту, как очевидному, так и такому, о котором сам клиент в себе – это бывало! – не подозревал... Но осенью тринадцатого года, в том же Стамбуле, один довольно странный человек, возможно, чем-то недовольный или что-то возмнивший о Тихонине и о себе, пытался утопить его в Босфоре. Тихонин тогда выплыл, но к делу охладел и предпочел найти себе другое – всех его дел не перечесать.

Теперь уже нам ясно: ни одно из дел не поглощало его до такой степени, чтобы стать делом

всей жизни и, допустим, продолжаться уже после него под его именем. Можно сказать, что у Тихонина не было цели жизни. Можно сказать иначе: цель была, но он не видел средств ее достичь. И это не была цель, которая манит издали, маячит впереди, пусть даже и в конце маршрута: она осталась позади, не будучи достигнутой, и если бы Тихонин обернулся на ходу, то оказалось бы, что цель его давно скрылась из вида, не стоило и оборачиваться. И эта цель была Мария.

